

ГЛАВА 2

Соперничество: разум против чувств

Короткий отрывок из Бернета и более длинная цитата из Гомперца в конце предыдущей главы составляют выбранную, так сказать, «тему», этой небольшой книги. Мы вернемся к ним позже, когда попытаемся ответить на вопрос: в чем же в таком случае заключается греческий способ размышления о мире? Каковы те особые черты в нашем сегодняшнем научном взгляде на мир, что берут начало у греков, особыми открытиями которых они явились, те, что до такой степени оказались искусственными, только исторически созданными, а не неизбежными, и поэтому допускающими перемены или изменения, и которые мы по укоренившейся привычке можем считать естественными и неотъемлемыми, как единственный возможный способ взгляда на мир?

Однако в настоящий момент мы пока не будем касаться этого основного вопроса. Скорее, некоторым образом подготовив ответ, мне хотелось бы ввести читателя в мир античной греческой мысли, что, я считаю, является весьма актуальным в нашей ситуации. При этом я не буду следовать хронологическому порядку. Ибо у меня нет ни желания, ни квалификации писать краткую историю греческой философии, в этой области в распоряжении читателя существует столько много хороших, современных и привлекательных книг (особенно Бертрана Рассела и Бенджамина Фаррингтона). Вместо того чтобы следовать порядку во времени, пусть нами руководит подлинное родство тем. Оно скорее сведет вместе различные суждения мыслителей по одной и той же проблеме, чем позиция одного философа или группы мудрецов по самым разным вопросам. Здесь мы хотим воссоздать именно идеи, а не отдельные личности или умы. Поэтому мы выберем две-три ведущих идеи из лейтмотива мысли, которые возникли на раннем этапе, не давали покоя умам в течение столетий эпохи античности, и близко родственны, или даже идентичны, задачам, вызывающим бьющую через край энергию оживленных споров вплоть до настоящего момента. Сгруппировав принципы античных мыслителей вокруг этих ведущих

идей, мы почувствуем, что их интеллектуальные радости и печали находятся ближе к нашим собственным, чем это иногда предполагают.

Широко обсуждаемый вопрос, снискавший большую известность в натурфилософии древних с самого возникновения в глубине веков и пронесенный через столетия, касается надежности чувств. Во всяком случае именно под этим названием данная проблема часто рассматривается в современных ученых трактатах. Она возникла из наблюдения, что чувства время от времени «обманывают» нас, как когда прямая балка, наполовину погруженная под углом в воду, кажется сломанной, а также из замечания, что один и тот же предмет влияет на разных людей по-разному: распространенным примером в античности был мед, имевший горький вкус для больных желтухой. Вплоть до недавнего времени некоторые ученые обычно довольствовались разграничением между тем, что они предпочитали называть «вторичными» качествами вещества — цветом, вкусом, запахом и т. д. и его «основными» свойствами — протяженностью и движением. Это разграничение, без сомнения, является последним отголоском старого спора, попыткой решения: ранее полагали, что основные свойства являются сущностью, истинной и непоколебимой, извлеченной разумом из непосредственных данных нашего чувственного восприятия. Конечно, эта точка зрения больше неприемлема, так как мы узнали из теории относительности (если мы не знали этого раньше), что пространство и время, а также форма и движение материи в пространстве и времени являются тщательно разработанным гипотетическим построением ума, поддающимся изменению, поэтому имеющим гораздо меньшее значение, чем непосредственные ощущения, которые, пожалуй, заслуживают эпитета «основные».

Но надежность чувств является только преамбулой к намного более глубоким вопросам, которые очень остро встают сегодня и которые античные мыслители полностью осознавали. Основывается ли наша попытка создания картины мира исключительно на основе чувственных восприятий? Какую роль в этом создании играет разум? Возможно, что в конечном счете она основана и поистине держится исключительно на чистом разуме?

Среди триумfalного шествия экспериментальных открытий в девятнадцатом веке любая философская точка зрения с сильной симпатией к «чистому разуму» получала «плохие отметки», особенно среди ведущих ученых. Теперь это не так. Покойный сэр Артур Эддингтон проявлял все большую и возрастающую привязанность к теории чисто-

го разума. Хотя немногие поддержали бы его до конца, его толкованием восхищались как весьма остроумным и плодотворным. В конце концов Макс Борн счел необходимым написать памфлет с опровержением. На Сэра Эдмунда Уиттекера, мягко выражаясь, оказалось очень большое воздействие заявление Эддингтона о том, что некоторые якобы чисто эмпирические константы могут быть выведены на основе чистого разума, например, общее число элементарных частиц во вселенной. Не углубляясь в подробности и приняв более широкий взгляд на усилия Эддингтона, которые явились результатом сильной веры в разумность и простоту природы, мы убеждаемся, что его идеи ни в коем случае не одноки. Даже замечательная теория гравитации Эйнштейна, основанная на разумных экспериментальных доказательствах и твердо подкрепленная новыми фактами наблюдений, которые он предсказал, могла быть открыта только гением с сильным чувством простоты и красоты идей. Попытки обобщить его великий удачный замысел, с тем чтобы охватить электромагнетизм и взаимодействие ядерных частиц, полны надежды в значительной мере «догадаться», каким образом в самом деле действует природа, получить ключ на основе принципа простоты и красоты. Действительно, следами этой позиции испещрены исследования современной теоретической физики — может быть их даже слишком много, но здесь не место для критики.

Крайние точки зрения относительно попытки построения *a priori* на основе разума действительного поведения природы могут быть в последнее время представлены именами Эддингтона, с одной стороны, и, например, Эрнста Маха, с другой. Весь спектр возможных позиций среди этих крайностей и высшая степень приверженности одной точке зрения, защита ее и атака, даже высмеивание отвергаемой альтернативы, представлены выдающимися личностями среди великих мыслителей античности. Мы право не знаем, следует ли нам удивляться, что они, со своим безгранично внутренним знанием действительных законов природы, могли разработать все многообразие мнений об их основе и выразить горячее рвение в защиту лично ими поддерживаемого, или скорее следует удивляться, что полемика все еще не умолкла, подавленная далеко идущей способностью проникновения в суть явлений, которую мы приобрели с тех пор.

Парменид, живший в Элее, Италия, приблизительно в 480 до н. э. (примерно десятилетие спустя в Афинах родился Сократ, а еще чуть больше, чем через десятилетие Демокрит в Абдере), стал одним из пер-

вых, кто развивал крайне антисенсуалистический, априористично понимаемый взгляд на мир. Его мир включал очень мало и это малое находилось в явном противоречии с наблюдаемыми фактами, что он был вынужден дать наряду со своей «истинной» концепцией этого малого заманчивое описание (как нам следует выразиться) «мира каким в действительности он является», где есть небо, Солнце, Луна и звезды и, несомненно, многие другие вещи. Но, говорил он, это есть только наша вера, которая возникает благодаря обману чувств. Поистине в мире существует не слишком много вещей, а есть только Единое Сущее. И это Единое Сущее есть (я прошу прощения) сущее, которое *есть*, в отличие от сущего, которого нет. Это последнее, исходя из чистой логики, *не есть*, — и, таким образом, есть только Единое Сущее, названное первым. Более того, ни в пространстве, ни в любой момент времени не может быть места, где или когда этого Единого нет — ибо будучи сущим, которое есть, оно не может нигде и никогда допустить противоречащего утверждения, что его нет. Следовательно, оно вездесущее и вечное. Здесь не может быть изменения или движения, так как нет пустого пространства, в которое это Единое могло бы переместиться и где его еще не было бы. Все, что, как мы полагаем, свидетельствует о противоположном, есть обман.

Читатель заметит, что мы встретились скорее с некой религией — изложенной, между прочим, прекрасными греческими стихами — а не с научным взглядом на мир. Но в то время подобное различие не было очевидным. Религия или почитание богов для Парменида, несомненно, принадлежали явлому миру «веры». Его «истина» была самым чистым монизмом, который когда-либо появлялся. Он основал школу (элейскую) и оказал огромное влияние на следующие поколения. Платон очень серьезно воспринял критику элейской школой своей «теории форм». В диалоге, который он назвал в честь нашего мудреца и отнес ко времени до своего собственного рождения (времени, когда Сократ был молодым человеком), Платон излагает эти возражения, но едва ли пытается их опровергнуть.

Разрешите мне вставить одну деталь, которая возможно являет собой нечто большее, чем деталь. Из приведенной выше краткой характеристики, в которой я следовал обычному толкованию, могло показаться, что догматизм Парменида относился к материальному миру, который он заменил чем-то еще в соответствии со своим вкусом и явлном противоречии с наблюдением. Но его монизм был значительно глубже.

В одном из текстов, приведенных Дильсом¹, фрагмент 5 Парменида

«ибо мышление и бытие есть одно и то же»

непосредственно логически вытекает из приведенного высказывания Аристофана «мышление имеет ту же силу, что и действие». И опять в первой строке фр. 6 читаем:

и высказывание, и мышление есть сущее, которое есть;

и во фр. 8, строки 34 f.,

Единое и то же самое есть мышление, и то, ради чего там есть мысль.

Я привел трактовку Дильса и отказался от возражения Бернета, что потребовался бы определенный артикль, чтобы сделать греческие инфинитивы, которые я передал как существительные «мышление» («the thinking») и «бытие» («the being»), подлежащими предложения. В переводе Бернета фр. 5 теряет родство с утверждением Аристофана, тогда как строка из фр. 8 в передаче Бернета становится явно тавтологической: «Сущее, о котором может быть мысль, и сущее, ради которого существует мысль, есть одно и то же».

Разрешите добавить замечание Плотина (приведенное Дильсом для фр. 5), в котором он говорит, что Парменид «объединил в единое целое сущее, которое есть, и разум и не вложил сущее, которое есть, в ощущения. Говоря «ибо мышление и бытие есть одно и то же», он также говорит, что последнее неподвижно, даже если возвращаясь к мышлению, он лишает его любого движения, подобно телу». [...] ταῦτὸ συνῆγεν ὁν καὶ τὸ ὁν οὐκ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐτίθετο. τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστύ τε καὶ εἴναι λέγων καὶ ἀκύνητον λέγει τοῦτο, καίτοι προστίθεται τὸ νοεῖν σωματικὴν πᾶσαν κίνησιν ἐξαίρων ἀπ' αὐτοῦ.]

На основе этого повторяющегося подчеркивания тождественности *ὁν* (сущего, которое есть) и *νοεῖν* (мышления) или *νόημα* (мысли) и того смысла, который приписывали его утверждениям мыслители античности, мы должны сделать вывод, что неподвижное, вечное Единое Парменида не означало причудливый, искаженный и неадекватный

¹Diels, *Die Fragmente der Vorsokratiker*, Berlin, 1903, 1st ed.

мысленный образ реального мира вокруг нас, как будто его истинная природа составляла однородную, спокойную жидкость, всегда заполняющую все пространство без границ — упрощенная гиперсферическая вселенная Эйнштейна, как был бы склонен назвать ее современный физик. Его позиция состоит в том, что он не склонен воспринимать материальный мир вокруг нас как данную реальность. Истинную реальность он вкладывает в мысль, в предмет познания, как следует сказать. Мир вокруг нас — это результат ощущений, образ, созданный чувственным восприятием в субъекте мышления «особенностью веры». То, что он полагает будто этот мир заслуживает внимания и описания, поэт-философ показывает во второй части своей поэмы, которая всецело посвящена этому миру. Но то, что дают нам чувства — это не тот мир, какой он есть в действительности, не «вещь в себе» как определил его Кант. Последний пребывает в субъекте, в том, что это субъект способный мыслить, способный, по крайней мере, к некоторой умственной деятельности — вечно волевой, как это обозначил Шопенгауэр. У меня нет сомнений, что это именно и есть вечное, неподвижное Единое нашего философа. Оно остается действительно не затронутым, неизменяемым тем преходящим зрелищем, что демонстрируют ему чувства — то же, что Шопенгауэр утверждал о воле, которая, как он пытался объяснить, была кантовской «вещью в себе». Мы встретились с поэтической попыткой — поэтической не только потому, что она изложена в метрической форме — объединения Разума (или если вы предпочитаете Души), Мира и Божества. Столкнувшись с глубоко осознанным единством и неизменяемостью Разума, явный калейдоскопический характер Мира вынужден уступить и считаться не более чем иллюзией. Несомненно, это кончается невероятнымискажением, которое восстанавливается, так сказать, второй частью поэмы Парменида.

Верно, что вторая часть косвенно выражает печальную несовместимость, которую однако нельзя устраниТЬ ни одной трактовкой. Если реальность упразднена из материального мира чувств, то является ли в таком случае последний *μῆτρα* сущим, которого действительно *не* существует? И не является ли в таком случае вся вторая часть волшебной повестью о вещах, которых нет? Но, по крайней мере, говорится, что она имеет отношение к *убеждениям* (*δόξαι*) человека; они находятся в уме (*νοεῖν*), который отождествляется с существованием (*εἶναι*); не присуще ли им тогда некоторое существование как явлениям

ума? Это вопросы, на которые мы не можем ответить, противоречия, которые мы не можем снять. Мы должны удовольствоваться этим и помнить, что тот, кто впервые прикасается к глубокой скрытой истине, которая противоречит общепринятым мнению, обычно до известной степени ее преувеличивает, вследствие чего, вероятно, запутывается в логических противоречиях.

Теперь обратимся к краткому рассмотрению взглядов кого-нибудь, кто представляет другую крайность на шкале возможных позиций по отношению к вопросу, является ли главным источником истины непосредственная чувственная информация или мыслящий человеческий ум, и, таким образом, имеет более полное, или даже, правильнее сказать, единственное право на реальное существование. В качестве выдающегося примера чистого сенсуализма мы приведем великого софиста Протагора, родившегося примерно в 492 году до н.э. в Абдере (которая через поколение около 460 года до н.э. дала жизнь великому Демокриту). Протагор считал чувственные ощущения единственными вещами, которые действительно существуют, единственным материалом, из которого составлена наша картина мира. В принципе, все они должны считаться в равной степени истинными, даже когда они изменены или искажены лихорадкой, болезнью, отравлением или безумием. Обычным примером в античности был вкус меда, горький для больных желтухой, тогда как другим людям он казался сладким. Протагор не имел ничего против «кажущегося» или иллюзии в обоих случаях, хотя, говорил он, наш долг попытаться вылечить людей, страдающих подобными аномалиями. Он не был ученым (ничуть не больше, чем Парменид), хотя питал глубокий интерес к ионийскому просвещению (о котором мы поговорим позже). По мнению Б. Фаррингтона усилия Протагора были сосредоточены на отстаивании прав человека вообще, на поддержке более справедливой социальной системы, равных гражданских прав для всех людей, — короче, истинной демократии. В этом, конечно, он не добился успеха, так как античная культура вплоть до своей гибели продолжала основываться на экономической и социальной системе, которая жизненно зависела от неравенства людей. Самое известное его изречение «человек есть мера всех вещей» обычно воспринимают как относящееся к его сенсуалистической теории познания, но оно может также заключать в себе откровенно социальную позицию по отношению к политическому и общественному вопросу: дела человеческие должны регулироваться законами и обы-

чаями, соответствующими природе человека и независящими от традиции или суеверия любого рода. Его отношение к традиционной религии сохранилось в следующих словах, которые также осторожны, как и мудры: «О богах я не могу знать, существуют ли они или же их нет, или же каков их облик, ибо существует много препятствий для верного знания — неясность дела и краткость человеческой жизни».

Самая передовая эпистемологическая позиция, которую я встречал у любого мыслителя античности, ясно и содержательно выражена, по крайней мере, в одном из фрагментов Демокрита. Мы вновь обратимся к нему как великому атомисту. В данный момент достаточно сказать, что он несомненно верил в целесообразность материального взгляда на мир, к которому он пришел, доверяя ему так же твердо, как любой физик нашего времени: твердые, неизменные маленькие атомы, которые двигаются в пустом пространстве вдоль прямых линий, сталкиваются, отскакивают и т. д. и таким образом создают все огромное разнообразие того, что мы наблюдаем в материальном мире. Он верил в это сведение невыразимо богатого многообразия поведения к чисто геометрическим образам, и он был прав в своем убеждении. Теоретическая физика в то время находилась так далеко впереди эксперимента (который едва ли был известен), как никогда прежде или позднее — не говоря уже о нашем времени, которое видит ее ползущей в хвосте. Все же в то же время Демокрит осознавал, что голая интеллектуальная конструкция, которая в его картине мира вытеснила действительный мир света и цвета, звука и аромата, сладости, горечи и красоты, фактически основывалась исключительно на самих чувственных восприятиях, которые, по видимости, исчезли из нее. Во фрагменте D 125, взятом у Галена и найденном только около пятидесяти лет назад, он представляет интеллект (*διάνοια*), спорящий с чувствами (*αἰσθήσεις*). Первый говорит: «Очевидно существует цвет, очевидно сладость, очевидно горечь, на самом же деле только атомы и пустота»; на что чувства возражают: «Бедный интеллект, и ты надеешься победить нас, несмотря на то, что от нас черпаешь свои доказательства? Твоя победа — это твое поражение.» Просто невозможно выразить это короче и яснее.

Многочисленные другие фрагменты этого великого мыслителя могут быть типичными отрывками трудов Канта: что мы не знаем ничего, что реально существует; что мы поистине ничего не знаем; что истина спрятана глубоко в темноте и т. п.

Один скептицизм — это низкое и бесплодное дело. Скептицизм в человеке, который подошел ближе к истине, чем кто-либо еще, и все же ясно осознает ограниченные пределы своей мысленной конструкции, велик и плодотворен и не приижает, а удваивает значение открытий.